

52
4862

The background of the cover is a detailed illustration of autumn foliage. It features several large, serrated leaves in shades of yellow, tan, and brown, some with small dark spots. Interspersed among the leaves are clusters of small, round, reddish-brown berries. The entire scene is set against a dark, textured background that resembles wood grain or a similar natural material. The overall color palette is warm and earthy.

Чувашский рассказ
Детям леса

Чăваш калавĕ

Пĕрремĕш том

Вăрман ачисем



Шупашкар
Чăваш кĕнеке издательстви
2016

ЧУВАШСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО





РАСПАХНУТЫЕ ВОРОТА

I

В жарко натопленной избе пахнет потом, дышится тяжело: недостает воздуха. В передние заиндевевшие окна заглянул месяц, осветил внутренность дома, лица спящих. Потом перевел взгляд на висящий у печного жерла жестяной половник и принялся с ним заигрывать.

— Да спи же ты, Никандр, спи. Чего ворочаешься с боку на бок? Светать уж скоро станет, а ты все не спишь...

Но Никандр не слышит слов жены и даже не чувствует, как та всем телом прижалась к нему. Высвободив из-под тулупа руку, он обхватил седую голову и тяжко, длинно простонал:

— Э-эх, времена!..

Сказал — и сам испугался своих слов, своего голоса и той ярости, с которой он это произнес.

— Светает уже, Никандр, уснул бы...

И опять не слышит жену Никандр. И опять прижимается жена к мужу, обнимает, тянет к себе... Но нет, не чувствует и не слышит жену Никандр.

...С яростью скребет он широкой новой лопатой снег у ворот и швыряет его далеко на дорогу.

Остальные мужики тоже расчищают снег у своих домов. Женщины с ведрами на коромыслах спешат за водой, другие уже идут с водой им навстречу.

— Кажись, нынче хлеб добрый уродится, Никандр Иванч. Зимы-то еще нет и половины, а глянь, сколько снега выпало.

— Да, да, — нехотя соглашается с одной из женщин Никандр. — Дай-то Бог, чтоб так и было. — Немногословен он с женщинами, не любит их: уж больно болтают много, языки у них будто хвосты овечьи.

Он почти покончил со снегом, когда к нему подошел церковный староста.

— Помогай тебе Бог, Никандр Иванч!

— Спассип-по.

— Может, пройдем в дом? Поговорить надобно...

Они прошли в сарай, присели на сани. Неподалеку от них дочь Никандра — Клавье — кормит зерном кур. Петух заботливо и шумно хлопочет вокруг квохчущих кур, но до слуха девушки все же долетают слова говорящих.

— Пропадем ведь, Никандр Иванч, истинно пропадем, с голоду помрем. Сопляк-то этот Кергури, сын Кирле, разрази его гром, комитет бедноты затеял, дьявол эдакий... Хлеб у богатых отбирать станут...

При этих словах у Никандра сами собой сжались и вскинулись кулаки, и он чуть было не задел ими лица старосты, вспомнив, как недавно схватился с этим Кергури.

— Ты поаккуратней... меня-то не бей... Так вот, отберут хлеб у зажиточных и отдадут голодранцам, а еще и в город, говорят, отправят — там тоже народ голодает...

Никандр неучтиво перебил старосту:

— Перестань! Знаю! — И, не прощаясь, прямо с лопатой в руках вошел в дом.

— Батюшки, Никандр, ты зачем лопату-то в дом занес? Выстудит же дом-то, в снегу она вся... — Урине, жена, непонимающе глядела на мужа. И тут Никандр дал выход своей ярости: с размаху вонзил в деревянный пол лопату, избил ни в чем не повинную жену и выгнал дочь за то, что слишком много насыпала курам овса... Целый день он провел без дела — ярость душила и не давала возможности ничем заняться. Но к вечеру к нему вернулся рассудок, и он, разобрав пол в конюшне, решил спрятать там зерно. Жена и дочь копали яму, сам он таскал из амбара мешки с рожью. Внизу ямы Никандр спрятал двести пудов, наверху оставил еще двести, надеясь, что если даже уведут эти, то вниз заглянуть не догадаются.

Спрятал Никандр хлеб, и вроде бы надо успокоиться, а нет — чувствует он, что какие-то неведомые силы обложили его со всех сторон и жмут, и загоняют в угол. И нет от них никакого спасения. Что же это за силы? Кто за ними стоит? И почему именно его хозяйство, которое он всю жизнь строил своими руками, недосыпая дней и ночей? Разве он все это нажил не работая, не сея и не убирая хлеба?..

Никандр рано остался без отца — ему было всего восемнадцать. Он на всю жизнь запомнил наказ родителя:

— Смотри, сынок, пуще глаза береги все нажитое, не сори ни хлебом, ни деньгами, а старайся к ним прибавлять и прибавлять... Женишься — не доверяй жене и вожжей не

ослабляй... Людям тоже не верь, ибо все стараются только за себя: твое отберут, а своего ни за что не отдадут. Ты тоже будь таким, сынок...

И Никандр старался жить по отцовскому наказу, помнил его слова, уважал память. Женился он спустя год после его ухода, взял замуж дочку порядочного человека — пасечника Матвея. С тестем они хорошо ладили: вместе трудились, сеяли-убирали, пили-ели тоже вместе. Не прошло и трех лет, как на месте родительского дома Никандр выстроил просторный красивый дом и нанял двух работников. Правда, сейчас он обходится без них, но не оттого, что не в силах их содержать, а по иной причине: время сейчас такое, что работников нанимать опасно... Так что отец — земля ему пухом — не должен быть на сына в обиде: имущество свое он не разорил, непутевым не стал и не собирается.

Никандр повернулся на другой бок, спрятал голову под тулуп. Пытался уснуть. Но сна нет как нет. Он до боли смежает веки, но глаза все равно смотрят и видят... Вот отец, возникший ниоткуда, трясая седой жиденькой бороденкой, идет прямо к ним. Вот он сдернул со спящих тулуп и глядит, глядит сыну прямо в глаза...

— Эх, ты, трусишка! Иль позабыл отцовский наказ? Где твои работники? Сопляка Кергури испугался, трус ты последний! Хлеб он спрятал, дуралей трусливый!..

Никандр вскочил, смотрит во все глаза в темноту. Никого... Проснулась жена.

— Чего это с тобой? Ложись давай аккуратней, а то коленками живот мне чуть не продавил...

Никандр молчит. Он уставился на божницу, за иконами которой скрылся отец. И гадает: приснилось ему все это или было наяву? Нет-нет, не во сне: он как сейчас видит, как отец тряс бороденкой и на кого-то ругался, широко открывая беззубый рот. Его ругал, Никандра, а не кого-то другого... Давно, давненько не видел он отца, целых тридцать пять лет...

«Эх ты, трусишка! Сопляка Кергури испугался, трус ты последний!..»

Неужели отец в самом деле так думает про меня? Нет-нет, я не трус, я ничуть не боюсь этого Кергури. Да кто он такой? Мусор, щепка сорная, что валяется у нас под ногами, а Кергури еще ниже — под этой щепой. Так что его одним ударом можно пришибить, пацана двадцатилетнего. И отец его, Кирле, старик немощный, к тому же бедный — нынешней осенью занял у Никандра десять пудов ржи. Удивительно: люди по осе-

ни хлеб в амбары набивают, а этому в рот нечего положить. Вот и пожалел его Никандр, одолжил до будущего урожая десять пудов, а там, конечно, возьмет все тринадцать. Так что Кергури крыть нечем — сейчас Никандр пойдет к его отцу и договорится: я с тебя долг не стану брать, а ты сына своего урезонь, а то он уж больно зарвался, так нельзя, потому как человек без человека не может жить, авось и мы вам сгодимся, а вы — нам...

На том и успокоился Никандр. Смежил веки, закутался в тулуп, пытаясь уснуть. Жена в полусне что-то пробормотала; месяц больше не заглядывал в окно — куда-то скрылся, и в доме стало темнее; за печкой завозились мыши, и с полатей тотчас прыгнула кошка, спавшая рядом с Клавье...

Но ничего этого не слышит Никандр — к нему снова пришел отец:

— Эх-х, трус ты, трусишка... С голодранцами дружбу водить надумал?... Иль тринадцать-то пудов в своем сусеке лишние? Да-а, надо было тебя маленького чаще лупить... — Потрясая кулаками, отец опять скрылся за иконами. На сей раз он показался Никандру злее и страшнее прежнего: глаза круглые, безумные, так и пышут огнем, словно горящие угли...

Нет-нет, не пойду я к отцу Кергури, к этому голодранцу. Ни за что не пойду. Да и зачем терять тринадцать пудов? Иль в своем сусеке им теснее, как говорит отец? А с Кергури можно поговорить и по-другому: поломать хилому воробышку ножку не так уж и сложно. Взять и поломать, и пускай прыгает на одной ноге туда-сюда, а присесть нигде не сможет. Так и загорит где-нибудь меж бревен...

Кошка вылезла из-за печки с мышкой в зубах. Оглядев уже светящую избу, забилась под стол и с урчаньем и хрустом принялась пересчитывать мышьиные косточки. Больше не слышно никаких других звуков. И вдруг кошка оставила добычу и прислушалась, подняв голову кверху — к полатам: оттуда донеслось сонное бормотанье Клавье: «Ну зачем, зачем тебе идти к ним... к красным? Чего тебе там надо? Кергури, не ходи к ним, умоляю, не ходи, Кергури...»

Наверное, кошка подумала и удивилась: с кем это Клавье разговаривает? Ведь кроме нее, кошки, рядом с ней никого не было?..

А Клавье продолжает бредить во сне, но ее, к счастью, никто не слышит: все спят.

...Немало лет прожил на свете Кирле — к шестидесяти годам приближается. Много и многих повидал-повстречал, но та-

кого беспутного, как его сын Кергури, видеть не доводилось. Старик, вешая над подтопком закоптелый чайник, беззлобно и негромко наругивает сына:

— Вот дурень окаянный! Сам поди не знает, откуда дождь берется, а туда же — прет супротив людей, что ему хлеб дают, чтоб с голоду не помер... Вот риста 'н, вот бестолковый! Жалко, не маленький, а то бы взял прут березовый да отстегал как следует... Никандр Иванч... Да кто осмелится с Никандр Иванчем спорить, никакой дурак не станет, а Кергури мой стал...

Разгорелся огонек и в трубке Кирле, и он, попыхивая ею, продолжал наругивать непутевого сына:

— Вот ристан, истинно волк лесной — дома не ночует, шляется где-то по деревне.

Старику Кирле хочется говорить и говорить, ругать сына, наставлять его уму-разуму. А Кергури нет и нет. Как ушел вчера утром, так и нынче глаз не кажет. И где ночевал — кто его знает...

Кирле, задумавшись, смотрит подслеповатыми глазами на пламя. Сухие щепки горят дружно, и старик не видит, что чайник уже всюю кипит, поднимая крышку и выплескивая из носика кипяток...

— В самделе, чего домой-то не идет? Небось и кормится у чужих людей, дурень эдакий...

Наконец он снял кипящий чайник с огня и перенес на узенький стол; из шкапа, сколоченного из одной доски, достал консервную банку с солью, оставленную летом красногвардейцами, и уселся за стол. Отрезал кусок хлеба, посыпал солью и принялся чаевничать, продолжая разговаривать сам с собой:

— И чего Никандр Иванч моего Кергури страшится? Почтенный человек, ни перед чьими воротами не кланялся, а тут на тебе, ко мне пришел, к бедняку, никем не почитаемому... И не просто пришел, а хлеб посулил с меня не брать, десять-то пудов, только, мол, ты сына своего образумь... Чудеса, да и только...

Прервав завтрак, Кирле отставил кружку и почесал спину сначала рукой, потом подошел к печке и потерся об угол.

Десять пудов хлеба, да не десять, а все тринадцать обещает не взыскивать, только сына, мол, останови. А как его остановить, дурака эдакого? Иль он не понимает, сколько стоит долготы — тринадцать пудов?.. Вот только явится домой, уж Кирле ему доложит обо всем: и как приходил Никандр Иванч, и как обещал долг списать... Должен же Кергури понять, не дурак ведь совсем...

И тут Кирле вспомнил красногвардейцев, что побывали у них в деревне прошлым летом. Зачем они тут остановились, Кирле толком не понял, но одно запомнил хорошо. «Твой сын молодец», — сказал тогда старший из них. Ну, молодец так молодец, ему-то, Кирле, что от этого? Пусть будет молодцом, это неплохо. А коль молодец, то и с Никандр Иванчем, глядишь, подружится, небось понимает, сколько стоят тринадцатая-то пудов. Только почему его нет и нет?

Кирле выбрался из-за стола и трижды перекрестился на угол. Отчаявшись дожидаться сына, принялся разжигать огонь в печи. Вот уже двадцать лет он топит печку сам — жена, Кедерне, умерла при родах. Кергури вскормила соседка вместе со своим ребенком. Что поделаешь: хорошие люди умирают, другие живут. При живой жене в доме Кирле было не хуже, чем у других: был и самовар, и корова во дворе... Славная была жена Кедерне, хоть и поругивала и даже в амбар запирала, когда он возвращался с базара пьяненький. Но не свирепела, как другие, добрая, хорошая была женщина... А то, что соседи про него судачили, мол, Кирле пропивает все, что есть в доме, вранье это. И он на них сердился из-за наговоров этих: «Пожили бы с мое — тогда узнали бы, почем фунт лиха...» Да, выпивал по случаю, и сейчас бы выпить не грех, потому как есть повод: Никандр Иванч долг ему скостить хочет. Только почему он не идет, ведь обещал же...

Дружно горят, потрескивают сухие дрова, заготовленные с лета. От печи пышет теплом, и Кирле, вынув изо рта трубку, задумчиво смотрит, как рассыпаются угли, как образуется из них зола...

Когда-то он был молод, силен, как все здоровые парни. Играючи таскал восьмипудовые мешки, наравне со взрослыми косил, убирал сено. И за это его любили люди. А зимой ему негде было применить бьющую энергию, и он подрядился в одну татарскую деревню ухаживать за лошадьми. Кирле присматривал за семью-восемью конями, работал днем и ночью, не считаясь со временем. Как-то они с хозяином поехали на дальний базар, где торговали конями. Как только к ним стали подходить покупатели, хозяин для бодрости стегал коней плеткой, и те высоко вздыбливались, показывая свою прыть и стать. И тут хозяин приказал Кирле проехаться верхом на коне по кругу. Когда тот вернулся на место, хозяин вдруг стеганул плеткой другого коня, тот с испугу вздыбился и выбил Кирле из седла... Два ребра сломал тогда Кирле, на груди образовалась вмятина... Теперь не то что восемь, три пуда не мог поднять

Кирле — в боку и груди все время кололо, стояла боль, работать он почти не мог...

А хозяин сунул Кирле двадцать рублей и сказал:

— Ну, Кирле, син авыр кеше... Ме сине егерме тәңкә акча та. Өйгә кай... Син мине кирәкми хәзер...*

Вернулся Кирле домой покалеченный. А вскоре умер отец, через год за ним ушла мать. Помаялся Кирле один, помаялся — и женился, взял ту же девушку, которую приглядел еще будучи здоровым. Кедерне хороша собой, сильная, работающая, а он больной, немощный... Понимает Кирле, как ей трудно жить с калекой, жалеет ее и начинает пить. И что? Умирает Кедерне прямо после родов. Хорошо хоть Кергури здоровым родился, а себя она извела непосильным трудом, как сказал доктор: даже в ночь после родов Кедерне месила тесто на хлеба и...

Вот так и стореда любимая, сильная Кедерне, как вот эти угли, рассыпалась золой...

Скрипнула калитка, и Кирле прильнул к окну. Наконец-то Кергури пришел, поговорим сейчас, потолкуем...

В дверном проеме показался крепкий рослый парень. Снял с головы малахай и стянув с себя овчинный полушубок, кинул их к печке, а руками прильнул к горячим кирпичам — замерзли.

— Слышь, Кергури, вы там супротив Никандр Иванча чего ни то не затеяли? — Кирле не собирался начать разговор подобным образом, но выпалил именно так. — Ты не шути, сынок, с Никандр Иванчем шутки плохи. Знаешь, что будет, коль с ним свяжешься, дуралей ты бестолковый.

Крепко намеревался Кирле отругать сына, но... Что это у Кергури с глазами? Почему они так и пронзают его насквозь таким недобрый взглядом?

Кирле прежде как-то не доводилось говорить с сыном, глядя ему прямо в глаза. Сейчас же им поневоле пришлось разговаривать с глазу на глаз, и отец увидел, что перед ним стоит вполне взрослый человек, крепкий, красивый, с уверенным взглядом. И человек этот — его сын. Когда Кирле назвал его «дуралеем», взгляд Кергури стал еще жестче. Заметив это, Кирле тотчас поменял тон, злость на сына куда-то улетучилась, и он виновато сказал:

— Ты не сердись, сынок, не сердись... — Кирле смущенно

* Ты теперь больной человек... Вот тебе двадцать рублей... Ступай домой, ты мне такой больше не нужен... (татар.)

мялся перед сыном: пожалуй, впервые в жизни он просил Кергури не сердиться на него.

— Да не сержусь я, отец. Говори, что ты хотел сказать. — Кергури придвинул ближе к печке маленький табурет и приготовился слушать. Кирле, словно стыдясь самого себя, путано начал рассказывать, как к нему приходил Никандр Иванч...

Утром Кирле вышел во двор, чтобы задать корм двум овечкам. Оставляя на выпавшем ночью свежем снегу следы от лаптей, он прошаркал к сараю, скинул с сеновала четыре ржаных снопа и только было собрался их распустить, как увидел перед собой невесть откуда взявшегося Никандра Иванча.

— Овец у тебя много, как я погляжу, — вместо приветствия с ухмылкой сказал неожиданный гость.

Кирле, конечно, понял подковырку в его словах, но что поделаешь: бедность не дает права на достойный ответ, потому приходится все терпеть. К тому же Никандр Иванч человек знающий, уважаемый... Кирле стянул с головы колпак и, зажав его под мышкой, поклонился неожиданному гостю в пояс.

— Не ведутся у меня овцы-то, Никандр Иванч... — промямлил старик. А Никандр Иванч продолжал улыбаться, обнажая здоровые белые зубы. Хотя смеяться тут нечему: Кирле и сам прекрасно знает свою нищенскую жизнь, но что делать? Не спорить же, не перечить Никандру Иванчу.

— Ежели за ними правильно ухаживать, они ведутся, овцы-то, — назидательно начал гость. — А для этого жить надо уметь правильно, не позволять сыну по деревне без дела шляться, людей уважать его научить. Он же сын твой, кто ж кроме тебя его уму-разуму научит, кто ему напрямки скажет, что мы издревле на хорошем счету у людей?..

— Ну вот, сынок, верно говорит Никандр Иванч: аккуратней надо работать. Если с ними вместе быть, глядишь, и овцы у нас поведутся... Я все-таки отец тебе, слушаться меня малость должен...

Долго втолковывал Кирле сыну, как надобно жить, а тот то краснел, то злился, то усмехался. И старик понял по его лицу: сколько ни старайся, образумить Кергури не удастся, не дошли до сердца сына слова отца. И тут Кирле почему-то вспомнился далекий случай из его детства. Носились они как-то с ребятами весной по берегу речки, и Кирле, любивший вырезать ножом всякие поделки, срезал ивовый прут и воткнул его в сырую землю. Через год они снова играли на том же берегу,

и Кирле увидел, как на месте тонкого прутика всю ветвится молоденькая ива. Долго любовался Кирле на новое деревце и не верил: неужели это тот самый прутик, что воткнул он в сырую землю?.. «Вот и мой Кергури вырос, как тот ивовый прутик», — подумал он, с удивлением глядя на сына и почему-то стыдясь самого себя.

— Эх, отец, отец, и когда только ты перестанешь позволять над собой насмехаться? Когда?

— Какая ж это насмешка, Кергури? Он долг нам спишет, Никандр-то Иванч, какая же тут насмешка? — Кирле хотел все это сказать твердо, решительно, но, не выдержав возмущенного взгляда сына, весь как-то съежился, смешался и пролепетал неуверенно.

— Ты что же, думаешь, твой сын, как эти жирные богатеи-улбуты, тоже продается? Хочешь, чтобы я, как ты, зажал шапку под мышкой и кланялся им, да? Эх, отец, отец...

Видя, как отец низко опустил голову, Кергури сбавил тон и стал спокойнее что-то объяснять ему, хотя Кирле мало что понимал из слов сына. А тот говорил про город, где люди голодают, а ведь это они для всех ткнут ситцы, варят сахар, делают спички... Солдаты на войне тоже голодают, а на селе богачи прячут хлеб и не отдают его добровольно, вот и приходится отбирать его у них силой. Все это делается для нашей будущей хорошей жизни. Когда мы дадим хлеб городу, у нас будут и спички, и сахар, и ситец...

Кирле не понимал: как это в том, что голодают те, кто делает спички, виноват деревенский хлебороб? Тогда пусть едут сюда да ходят за сохой, косят сено, убирают конюшни... Вон Кирле имеет два надела земли: паши ее, возделывай, сей, жни, молоти, мели — и будет тебе хлеб!.. А война? Кто ее повелел начать? Не они же — крестьяне... Нет-нет, не прав Кергури, ошибается он. Как же так: отобрать у Никандра Иванча его хлеб и отдать бедным? Он, что ли, виноват, что я бедный? Нет, не он, а барышник Бикмулла, это он меня изувечил, ребра мне переломал, а не Никандр Иванч...

Кергури, видя, что отец не понимает его, прервал разговор.

— Ладно, отец, я спать хочу, — укладываясь на кутник, сказал он миролюбиво. — Только ты с Никандр Иванчем и другими не говори про меня ничего, ладно?

— Ха, выходит, мне с ними со всеми собачиться надобно?

Сын ничего не ответил, только махнул рукой. А старик стоял на своем: ведь не десять пудов, а тринадцать хочет простить Никандр Иванч, как Кергури этого не понимает?..

Кирле долго глядел на спящего сына, гадая, где он провел прошлую ночь и чем занимался. И вдруг вспомнил последние слова Никандра Иванча и содрогнулся. «Смотри, Кирле, не уймешь сына — вместе с ним угодишь в бездонную яму...» — сказал он, уходя. Как же Кирле не припомнил их давеча и не передал Кергури? Ведь неспроста это сказал Никандр Иванч, ох неспроста...

Пошатнувшись, Кирле чуть было не упал на лавку и, съжившись, словно боясь кого-то, замер. На лбу выступил холодный липкий пот.

Стоял такой же холод, как сегодня. Деревья так и трещали от мороза. В деревню нагрянули солдаты и согнали людей на базарную площадь. Все стоит молча, никто не осмеливается проронить и слово. Хрустя снегом и сапогами, по площади похозяйски расхаживают солдаты и Никандр Иванч. В руках двух солдат кожаные нагайки. Никандр Иванч выталкивает из толпы одного, другого и говорит:

— Вот этот со студентами бунтовал, взять его!

Солдаты хватают указанных людей и, сцепив зубы, с ожесточением бьют нагайками. Те падают на белый снег, окрашивая его красной кровью. Кровь, плач, стоны... А Никандр Иванч смотрит на окровавленных людей и довольно ухмыляется.

Когда же это было? Когда?.. Да совсем недавно, кажись, в 1905 году!.. Да, да, тогда и было. Кирле помнит тот холод, кровь, белый снег, что на глазах становился красным... А если такое произойдет завтра? Если опять Никандр Иванч укажет, кого схватить и бить, а сам так же станет улыбаться?..

Кирле смахнул со лба шероховатой ладонью холодный пот. Ему как сегодня вспомнился тот кровавый день: он тяжело дышал, горло как будто обвили мокрой веревкой. Нагайки, кровь, снег...

Ну кто, кто может побороть Никандра Иванча? Кто? Да никто, никто его не победит, а он не сегодня-завтра приведет опять солдат и.

Кирле снова вытер потный лоб и дрожащими руками стал набивать трубку. Верно, конечно, верно: такое больше не должно случиться. Небось видит Бог все, что творится на земле... Не зря же говорит отец Варсонофий: Бог все видит и решает, когда кого по какой дороге послать — по дороге дьявола или по пути Христа... Видит-то видит, а порядок все равно оставляет старый. Отсюда и нагайки, и кровь, кровь, кровь... И Никандр Иванч по-прежнему насмехается над теми, кто пойдет

дорогой дьявола, скалит свои здоровые зубы... Кирле с Кергури тоже пойдут этой дорогой...

Кирле не раз наблюдал, как глупая муха летает-летает без пути-дороги и попадает ненароком в паутину. Бьется, бьется и в конце концов протягивает ножки — умирает. И Кирле всегда винил муху: сама виновата, потому как летала чохом, без пути-дороги, вот и залетела в тенета. И не стоит ее жалеть. Так и человек: мучается оттого, что не умеет жить, за что и получает палками да нагайками. Кто, к примеру, велел Кергури идти наперекор Никандру Иванчу? Кто? Конечно, тут виноват и сам Кирле, отец, а Кергури — его сын. Кто должен был следить за ним, как не отец? Отец Варсонофий о том же говорит. И правильно говорит. Надо было Кирле глядеть за сыном, надо...

На глаза Кирле набежали непрошеные слезы, покатались по морщинистым щекам и застряли в седой трясущейся бороде.

Сын спит. Он не видит отцовских слез. Может, увидел бы и перестал бы ссориться с Никандром Иванчем...

Плохой он отец, Кирле, плохой. До сих пор не может урезонить сына. Что же делать, как быть? Может, сходить к отцу Варсонофию посоветоваться? Авось он чем поможет? Бывало, помогал...

Кирле быстро натянул залатанную шубу, шапку и скрылся за дверью, оставив на столе забытую трубку да несколько капелек слез, соскользнувших с бороды на хлебные крошки. В избе на некоторое время воцарилась тишина. Но вскоре то ли за печкой, то ли под лавкой зацвиркал неугомонный сверчок, и Кергури, повернувшись с одного боку на другой, начал бредить во сне:

— Клавье, Клава... ты не сердись, но твой отец очень нехороший человек... нехороший. Ты только не сердись за то, что так говорю...

А сверчок, обрадованный, что с ним разговаривают, застрекотал еще громче, еще живее.

II

Чья-то невидимая рука укрыла ночную деревню огромным белым саваном. А на небе хозяйничают звезды во главе со своим пастырем — желтобородым месяцем: он, кажется, пересчитывает их, меняет местами, и сам то нырнет в темное облако, то снова появится, осветив все вокруг.

Красивая зимняя звездная ночь. Под ней хорошо думается, шагается легко... Под ногами молодого парня звонко хрустит снег. Кто это, столь горделиво вскинув голову, шагает куда-то уверенной походкой в эту звездную тихую ночь? Да это же Кергури, сын Кирле! И куда он направляется? На улах — девичьи посиделки, что собирается на Первой улице, в небольшой баньке на противоположном берегу речки. Кергури переходит речку и останавливается у баньки... Там должна быть и Клавье...

Две девушки сидят на лавочке, третья — напротив; возле малюсенького окошка еще две подружки сидят на доске, установленной на двух табуретках. Девушки все прядут, головки прялок почти упираются в низкий потолок. Парни пристроились кто на табуретах, кто прямо на пороге. Те, что на табуретах, смолят трубки, а тот, что на пороге, часто зевает — хочет спать...

Все почему-то молчат. Слышно лишь жужжанье веретен, которые под тяжестью нитей нередко с тупым стуком падают на пол. Потрескивая, горит подвешенная к потолку керосиновая лампа — то ли керосин плохой, то ли трещит сама по себе. И больше никаких звуков...

Невольнo вспоминаются посиделки прошлых лет, где царили веселье, смех, танцы, пляски... Гомон стоял такой, что дрожали окна, пол, с потолка сыпалась чердачная земля — и никто не останавливался, все плясали, пели, веселились... Кряхтя, слезала с печи хозяйка дома тетушка Хветле и умоляла: «Ребята, вы ж избу-то мою развалите, что люди скажут?..»

Но никто не слышит старушку — поют, пляшут, веселятся. Сегодня все иначе. Молодые все почему-то молчаливы, да в бане больно-то и не распляшешься, хотя прежде и в банях на улах царило веселье, играла гармонь, звучал смех. Сегодня никто не поет, не смеется, не пляшет...

— Девчата, я, кажется, скоро усну! — не выдерживает одна из девушек. — Клавье, ты же хорошо поешь, спой что-нибудь.

Все устремили взгляды на Клавье, молча сидящую с низко опущенной головой. Вот она склонилась, чтобы подхватить наполненное веретено, но веретено вырвалось из ее рук и со стуком упало на пол. Она ничего не ответила на просьбу девчат, только взглянула в сторону двери и снова уткнулась глазами в белоснежный фартук.

— Ну спой же, Клавье, мы уже забыли, какой у тебя голос...

И вновь молчит Клавье, только откинула назад черную косу и опустила платок по самые глаза.

Девушка больше не просит Клавье спеть, молчат и остальные. Все заметили, что в последние дни ее просто не узнать: глаза потускнели, покраснели, походка стала какая-то тяжелая, голова все время опущена. По всему видно: у Клавье случилось какое-то горе, но никто не знает, какое. В чужую душу не влезешь, это в баню можно зайти в любое время, а тут душа... Да что там чужая душа — свою-то не всякий раз понимаешь. Чувствуешь, что-то в тебе неладно, то горишь, то мерзнешь, а то застрянет в горле ком — не проглотить его, не выдохнуть. И что с тобой творится — неведомо. Вот так маешься-маешься, а потом... успокоишься. Вот и Клавье, глядишь, успокоится. И споет, и спляшет, как прежде, и все-то будет хорошо, и все вместе мы повеселимся. А голос у Клавье в самом деле чудесный, да она и сама ой как хороша! И лицом красива, и душой, и несмотря на то, что дочка богатого отца — Никандра Иванча, со всеми простая и равная. И кому только достанется, кого осчастливит эта чудная девушка? Может, того же Кергури, а может, кого другого?.. Впрочем, Кергури тоже хорош, только беден, да и это не главное: он вроде не как все парни, дружбу водит не с молодыми, как сам, а с пожилыми да стариками... И эти, бородастые дурни, слушают его, исполняют все, что он велит. Какой-то «комитет бедноты» создал, и туда вошли все те же старики: седобородый Трапхин Васси, вернувшийся с войны раненый Микка Мируне, а еще бывший работник Никандра Иванча — Медведев Иван, ну и сам Кергури... Ах нет, есть еще и пятый, бывший матрос, в Америке вроде побывал — Кузьма Калуга... Все взрослые, женатые, один Кергури холостой. Они, сказывают, и сегодня будоражили деревню — у церковного старосты выгребли двести пудов хлеба и на станцию проводили. У отца Клавье — Никандра Иванча — тоже с утра до вечера искали, но не нашли...

Странная эта Клавье: Кергури делает все против ее отца, а она все равно его любит. И он тоже хорош: у своего будущего тестя хлеб хочет отнять. Нехороший парень Кергури, злой. Не зря он так редко улыбается, даже рядом с Клавье больше молчит, чем разговаривает. Да и Клавье тоже... Хотя нет, не была она такой, в эти дни она здорово переменялась. Может, отец прознал, что дочь с Кергури дружит? Спросить бы, узнать у нее... Нет-нет, в такое время лучше не лезть к человеку в душу, не расстраивать лишний раз...

Клавье, конечно, и сама догадывается, почему так молчаливы подружки. Знает она и то, что девчата любят ее,

сочувствуют ей. И не веселятся, чтобы не доставлять ей печали. А, может, наоборот, спели бы, сплясали — глядишь, и у нее на душе стало бы легче... Хорошо бы спеть грустную, жалостливую песню, поплакала бы Клавье и успокоилась... Но недостает у нее смелости попросить об этом девушек — боится она, чтоб не разрыдаться у всех на глазах. Уж очень тяжело у нее на сердце, так и щемит в груди, теснит душу...

...Последние летние деньки. На берегу реки под высоким старым тополем молодежь собралась в хоровод — выйя. Ах, этот тополь-батюшка! Как он напоминает о свиданиях с любимым. А соловей в саду, рожденный всю жизнь сладко петь, так заляется, что впору вместе с ним петь и плясать. И тебе самой вдруг захочется стать птицей, взлететь на этот высокий тополь и запеть так, чтобы все слышали...

Друг против друга — отец и любимый,
Топор у отца, кинжал у любимого.
Блестит топор, кинжал сверкает,
Скажите, милые, кто зол из них, кто добр?..

Ох, как хочется спеть эту песню подружкам! Интересно, что бы они сказали? Кого назвали бы злым, а кого добрым? Нет, пожалуй, не стоит: пусть все останется в душе, на сердце. Как-нибудь спою одна утром, как пойду за водой, или вот сейчас, как ворочусь с ухаха и уткнусь в подушку. Одна, одна спою, чтобы никто не услышал!

И тут Клавье вспомнился сенокос в лесу. Тут и там мелькают белые вышитые рубахи и платья, платки; птичье пение переплетается со звонкими ребячьими голосами и со скрипом телег. Все это делает еще краше и без того веселый и приветливый лес. Клавье, очарованная всей этой прелестью, не в силах сдерживать распирающую ее радость, отошла от косарей подальше в кусты и запела:

Завлекают парней мои косы,
Завлекают глаза мои — бусы.
Меня же влекут небеса голубые
И лес, полный гомона птичьего.

И тут из неожиданно раздвинувшихся кустов орешника появился... Кергури.

— Да, Клавье, красивы у тебя глаза и косы, ничего не скажешь. Но мне больше всего нравится твой голос...

Уйдя в воспоминания, Клавье не заметила, как отяжелевшее от нитей веретено со стуком упало на пол. Девчата сделали

вид, что ничего не заметили, зато от стука проснулся дремавший на пороге парень.

— Э-э, девчонки, с вами только и дремать: не поете, не пляшете... Лучше пойду на другой улах, в Анаткасы! Идемте со мной, кто желает? Илле, Керги, пошли вместе!

— Нет, мы пока не пойдем... — Парни многозначительно переглянулись, и тот ушел один.

Чего же ждут эти двое? Пришли уже давно и сидят молча. Здесь у них нет ни любимых девчонок, ни друзей или родственников. Да и раньше они сюда почти не заглядывали, чего же ради сегодня сидят так долго? Ждут кого-то?..

— Послушайте, Илле, Керги, а у вас в вашей стороне разве нет улаха? — спросила одна из девушек.

— Ну есть... А чего ты спрашиваешь? Иль нам нельзя тут, у вас, посидеть?

— Им же один Кергури нужен, иль ты не знал об этом, Керги? — осклабился в неприятной ухмылке Илле.

При упоминании имени Кергури Клавье вздрогнула всем телом. Остальные девушки тоже поняли, что парни пьяны — от них сильно пахло спиртным...

По какому же случаю напились эти двое? Вроде ни праздника, ни какой другой причины угощаться нету, хотя выпивку можно найти в любое время. К тому же таким, как эти. Уж больно подозрительные типы: Илле, говорят, свою мать забил до смерти, а Керги каждую Масленицу с ножом народ пугает. Кто знает, может, они и сейчас кого-то подстерегают?

Но молчат девушки — боятся. Как только учуяли запах водки, так и замолчали. Однако то одна, то другая взглядывают на Клавье — так хочется ее о чем-то спросить! Чуют, видно, девушки что-то ужасное, переглядываются меж собой и молчат.

Клавье тоже почувствовала беспокойство подружек. То, что Илле и Керги пьяны, она тоже знает давно. А потому ее сердце с самого утра исходит кровью. Утром она вышла высыпать золу в огород и увидела отца, беседовавшего с этими двумя за соломенным стогом. Сразу поняла: если отец связался с Илле и Керги — это не к добру. И вот сейчас ее сердце готово разорваться от предчувствия беды...

Ах, Кергури, Кергури, и зачем только ты связался с отцом? Неужели больше не у кого в деревне забрать хлеб, чтобы спасти голодающих в городе людей? Неужели больше некому отправить этот хлеб, кроме как тебе? Мало ли кроме тебя людей, Кергури, мало ли?.. Ну почему ты такой, почему? По-

чему тебе непременно с кем-то надо ругаться, спорить, драться? Неужто нельзя жить со всеми в мире?..

И Клавье больше не выдержала: уткнувшись в лавку, зарыдала громко, отчаянно. Девушки, побросав рукоделие, сгрудились вокруг подруги, пытаясь утешить.

III

...Море, безбрежное море. Вечереет. Над морем бесконечные черные, как сажа, тучи. А вот и дождь, сначала мелкий, а вскоре сплошной ледяной поток. И ветер, ураганный ветер поднимает высокие волны и бросает в бездонную пучину. Ледяной дождь не унимается, нет ни берега, ни огонька. Море того и гляди поглотит утлую лодчонку. Кого звать на помощь? Кто может спасти? Какой смельчак отважится прийти на помощь в разбушевавшуюся стихию?..

А в лодке уже появилась вода. С новой волной она полна почти наполовину. Силы на исходе, весла вырываются из рук. Позвать на помощь — нет голоса. Голос поглотило море. Набегают новая волна и пролетает над лодкой. Срывает с головы шапку, выбивает из рук одно весло. Еще одна такая волна — и конец!

— По-мо-ги-те! Тону-у!..

И вот она, волна, которая опрокинула лодку и унесла с собой седока...

...Кергури свалился с лавки, упал на пол. И застонал от боли, открыл глаза. Где он? Где море, ведь оно только что было?.. А ледяной дождь?.. Где же я, где?..

Постой, ведь это их дом! Вот и чайник, кружка на столе, печка, скамейка.

— Отец, ты где? Отец, что со мной, отец?.. Ой! Ай!.. — Кергури попытался подняться с полу, но от боли потерял сознание и долго лежал с закрытыми глазами.

В избу торопливо вошел Кирле. Он без шапки, волосы спутаны, в руках у него кувшин с молоком, которое щедро налила соседка. Он ставит его на стол и склоняется над сыном. Дрожащими руками приподнимает голову Кергури, но тот со стоном роняет ее и слабым голосом повторяет бесконечный вопрос:

— Отец, что со мной случилось, что?

Кирле молча часто-часто моргает подслеповатыми глазами, пытаясь снова поднять голову сына.

— Ой! Не надо, не трогай, отец... Я сам... сам поднимусь...

Промучившись с минуту, Кергури наконец вернулся на место — на лавку. Отец с кружкой в дрожащих руках подходит к сыну.

— Постой, отец, погоди... Скажи, что со мной произошло? Где море, лодка, ледяной дождь?.. Это был сон, да?.. — Превозмогая колющую боль в боку, Кергури силится что-то вспомнить... Красивая звездная ночь... Белый снег. В углу двора соломенный стог... Журчащий родник на дне оврага... Он перешел через овраг, подошел к другому... Улах. Девушки. Клавье... Илле, Керги...

— Ой! Ой!.. — Кергури снова впал в забытие. Кирле, поставив кружку с молоком на стол, крестится перед закоптелой иконой, шевеля губами, шепчет молитву. А за окном лютый мороз, слышно, как трещат от холода ветлы. Время от времени хлопают ветхие ставни — дует холодный северный ветер...

— Отец... отец...

Кирле оставляет молитву и, схватив кружку, спешит к сыну. Он похож на угодившую в силок птицу и не знающую, что же делать. Грудь его словно кто-то сковал железом, он не может ни охнуть, ни вздохнуть...

...Вечером, поужинав хлебом с солью и не дождавшись сына, он взобрался на печь и долго ворочался с боку на бок без сна. Но потом все-таки затих, как затихла и красивая звездная ночь. Ни звука, ни голоса на улице. Кирле это хорошо помнит, поскольку, мучаясь без сна, несколько раз выходил во двор. Вернувшись в дом, он снова залез на печь, но так и не уснул — вздыхал, охал, мучимый бесконечными мыслями о сыне, о себе, о других...

Вот уже запели петухи. Кирле по-прежнему не спал: видимо, сердце предчувствовало какую-то беду...

Вдруг с шумом растворились ворота, и по двору пронесся топот нескольких пар ног. Быстро распахнули дверь... Кто это? Что там стряслось? Кого это тащат и бросают на пол?..

Кирле слез с печи и увидел парней и девушек, одна из них, чья — Кирле не узнал, плачет в голос...

— Эх-хо-хо! Вот время-то какое настало... Конец света наступил, конец света... Ведь сколько раз говорил Кергури: не связывайся ты с Никандр Иванчем, не связывайся. Их ведь никто не осилит, ни человек, ни зверь. Вон что они сотворили с сыном-то, умрет парень, умрет. Жизни не знаем, не умеем жить, потому и гибнем... Зарезали парня, и ничего с ними не поделаешь... Чужало сердце беду, не зря болело всю ночь. Ладно, если

не помрет Кергури, ой как ночь-то бредил, мучился... А девка-то как плакала, дочка Никандра Иванча... Все ушли, а она осталась в избе бедняка, всю ночь просидела возле сына. И всю ночь плакала... Чего нашла в моем сыне-то, дочь богатого отца? Он поди спросит, где ночь провела, чегой-то она ему скажет, бедняжка...

— Отец, отец... Ты почему не отзываешься?

Проведенная ночь рядом с плачущей Клавье окончательно выбила Кирле из колеи. Руки его дрожат, молоко льется из кружки на пол, а в нее капают его слезы, которые он уже не может сдерживать.

— Отец, где ты? Почему не откликаешься? Ты плачешь?..

Кергури пробует подняться, но из этого ничего не выходит. Тогда он поманил пальцем отца: сядь со мной рядом. Но тот сквозь слезы не видит ничего, и Кергури закрывает глаза — засыпает...

IV

Всю неделю стояли холодные вьюжные дни, а за ними морозы установились еще крепче. Время жестокое, и погода под стать ему. На ровном ходу у мужчин на бородах образуются ледяные бусы, а промерзшие лапти стучат не хуже кованых сапог.

Базарная площадь. Около дома Никандра Иванча полно народу. Люди то враз начинают говорить, кричать, жужжать, словно пчелиный рой, а то смолкают, и только слышно постукивание лаптями нога об ногу да хлопанье кожаными рукавицами рука об руку. Холодно, очень холодно. Ледяные бусы на бородах покалывают подбородок, уши мерзнут, только высунь их из-под малахая.

Стоит большой обоз с хлебом — двадцать саней с рожью. Первая подвода — у дома Никандра Иванча, последняя — у самого базарного переулка. Скрипят санные полозья, издавая какой-то болезненный звук. Лошади застоялись, промерзли, то и дело перебирают ногами. Скорее бы тронуться, на ходу не так холодно.

— Чего ж не выходят? Замерзли все, ехать бы надо!

— Успеешь, не гони. Пусть Никандр Иванча самого выведут, тогда и поедем.

— А что, его тоже с обозом заберут?

— А тебе что, жалко его? Сам кашу заварил, пусть сам и расхлебывает.

— Где же рожь-то у него ссыкали? В тот раз ведь не нашли...

— Да эти черти где хошь найдут...

— Отчего ж «черти»? А сам ты кто? Не черт ли рогатый? Иль хочешь вместе с Никандром Иванчем на станцию поехать?

— Ты туда ступай, брюхо ненасытное! На чужое добро зарышься? Сначала сани мои верни, а потом разговаривай!

— Полно вам. Перестаньте! С санями после, дома, разберетесь, как вернемся!..

Спорщики обмениваются сердитыми взглядами и умолкают, хотя на лице каждого так и написано: погоди, вот вернемся — я тебе покажу!

— В самом деле, как же зерно-то обнаружили?

— Половина, говорят, была снаружи, в конюшне, а вторая там же, только под полом. Дочка, Клавье, сказывают, указала.

— Неуж собственная дочь выдала?

— Она, Клавье...

— Вот непутевая! Супротив отца пошла... Да, дела...

— Путевая, непутевая, а все ж лучше отца-то...

— Ненай, ненай... Кто лучше, кто хуже — сам бог не разберет, — белобородый старик, сняв рукавицу, перекрестился на храм.

— Ярмак, а Ярмак! Отведи лошадь, сено мое жрет!

— Сено съест, изгородь останется... Не трезвонь, как пожарный чан!

— Ох, холодно... Костерок разжечь, что ли, руки заочене-ли напрочь.

Наконец распахнулись ворота Никандра Иванча. Шумевшие люди враз смолкли. Первыми из ворот вышли члены комитета бедноты, за ними Никандр Иванч, Илле, Керги...

Всех троих усадили в задние сани, и длиннющий обоз тронулся в путь. Лошади обрадовались движению и резво побежали по накатанной дороге. А в воротах появилась жена Никандра Иванча и с плачем повалилась на снег. За ней вышла и дочь — Клавье. Она попыталась поднять мать, успокоить ее. Но та рыдала все сильнее, и Клавье тоже заплакала вместе с ней.

К распахнутым воротам с громким лаем рвется с цепи огромный пес. Кажется, он готов загрызть каждого, кто собрался возле дома его хозяина. Но цепь крепка, да и ремень на шее пса широк и надежен.

А осиротевшие женщины — мать и дочь — по-прежнему лежат на снегу и плачут, плачут...

— Никандр!.. Никандр!.. — вопит мать и зарывается лицом

в снег. Волосы ее рассыпались, из обезумевших глаз катятся слезы и застывают в ледышки. Она понимает, что всех троих увезли на станцию и больше их не увидят. Никого: ни Никандра, ни Илле, ни Керги...

— Кергури... Кергури... — отрешенно глядя на снег, зовет Клавье. Но Кергури нет. Кергури умер в тот же день от ножа Илле, Керги и ее отца Никандра Иванча...

Люди долго не расходились по домам. Уже давно скрылся с глаз длинный обоз с хлебом, а они все стояли, не решаясь поднять плачущих женщин и проводить в дом.

В это время откуда ни возьмись выскочил Кирле с топором в руках. Он был босый и раздетый, вид его был безумен и страшен. Оглядевшись вокруг, он помчался через двор прямо в дом Никандра Иванча, но через минуту выбежал обратно. Кинулся к воротам, попеременно сверкая бешеным глазом то на стоявших у ворот людей, то на лежащих на снегу женщин.

— Где он? Где Никандр, где?! Зарублю гада! — Он вскинул топор и дважды ударил им о мерзлую землю.

— Ах-х! — ахнули люди.

— Дядя Кирле с ума сошел! Топором зарубил жену и дочь Никандра Иванча!

— Айда могилы копать!..

Прошли мимо могильшики с лопатами.

А из открытых ворот несется лютый лай обезумевшей собаки. Ворота никто не закрывает. Их оставил распахнутыми восемнадцатый год...

1927

Перевод Зои Романовой